

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ

ПРОМЕТЕЙ

ТРАГЕДИЯ

ПЕТЕРБУРГ

«Алконост»

1919

ПРЕДИСЛОВИЕ.

I

В основу всякого действия заложено внутреннее противоречие, — двусмысленность и самоотрицание действия,—а стало быть—и приятие, сознательное или бессознательное, его виновником вины и кары. Последняя, будучи, в качестве противодействия, в свою очередь действием, не только не восстанавливает нарушенного равновесия, но и продолжает преемство тяжбы. Так плетется, звено за звеном, непрерывная цепь греха и возмездия.

Если ряд событий, развивающихся из действия, похож на игру, в которой наименьшею ставкою служит человеческая жизнь, мы говорим,—поскольку приятие зачинательною личностью вины и кары сознательно,—о трагическом характере, поскольку же бессознательно—о судьбе и участи трагической, хотя в обоих случаях перед нами—независимое от качества личной воли проявление одного и того же объективного закона.

Объясню, что разумею под „действиями“ (как это явствует из существа мысли) решения и поступки характера зачинательного и воленалагательного; под „противоречиями“ же действия..—чтобы не утомлять свой и читателя северный ум диалектикой, требующей прозрачного, аттического воздуха, скажу образно и облачно: все то, что делает нашего северного Гамлета бездейственным. О последнем, о своей книге о Трагедии, Ницше судит так,—и это суждение, не

давая полного ответа на поставленный вопрос, освещает все-же одну грань проблемы: „в своем отношении к действительности,—говорит Ницше,—дионисийский человек являет сходство с Гамлетом: оба заглянули в истинную суть вещей, оба познали, и с тех пор им претит действовать, ибо их действие ничего не может изменить в вечной сущности вещей; познание убивает действие, — чтобы действовать, нужно быть окутану покрывалом иллюзии,—вот учение Гамлета“. Если познание открывает в действии ложь, то пробужденное нравственное сознание изобличает в нем неправду. Слова, влагаемые Эсхиловым хором старцев в уста Агамемнона, стоящего на пороге рокового решения: „Что здесь не грех? Всё—грех!“—заключают в себе целую философию действия: так, по крайней мере, философствует Трагедия. Но последняя изменила бы своей природе, если бы в то же время—и именно в силу противоречия, ею вскрытого,—не повелевала человеку действовать.

Познай себя, кто говорит: «Я—Сущий»;

Познай себя—и нарекись: «Деянье».

Нет человека; бытие—в покое;

И кто сказал: «Я есмь»,—покой отринул.

Познай себя: свершается свершитель,

И делается делатель; ты—будешь.

«Жрец» нарекись, и знаменуйся: «Жертва».

Се, действо—жертва. Все горит. Безмолвстуй.

Не одной только древней трагедии, но трагедии вообще свойственны ужас перед этою неугасимостью неправды, однажды вспыхнувшей в действии, и тайный зов искупления, т. е. погашения извне привходящим вмешательством неоплатного долга, без меры умноженного божественною лихвой. *Deus ex machina*—единственный логический в своей непоследователь-

ности исход всякой трагедии, и мы недовольны появлением из-за кулис небесного разрешителя только потому, что этот лубочный подарок преждевременно и нецеломудренно обнажает нашу потаенную, заветную мысль. Но мы нуждаемся в уповании,—и если струны его в нас разбужены, готовы признать «очистительную» цель трагедии достигнутою.

Предлежащее лиро-драматическое произведение есть трагедия,—во первых, действия, как такового; во вторых, самоистощения действенной личности в действии; в третьих, преемственности действия. В общем—трагедия титанического начала, как первородного греха человеческой свободы.

II.

«Грех—свершенье»,—шепчет возносящему огненный светоч «освободителю» неусыпная дозорщица неправд и неотступная исполнительница возмездия; но тому, кто «все промыслил и предрешил»,—мученику сознательности чрезмерной и преступной,—конечно, не новость и не темная загадка глубинное откровение этой горькой истины. Впрочем, Эринния, как наша совесть, никогда не говорит своему собеседнику, чего не знает издавна он сам.

Но «промыслитель» и большее знает. Ему ведомо, что единственным смягчением вины и муки действия служит безсознательность последнего: «будь слеп, ковач, и глух»... Увы, его слишком зрячим и сухим глазам, как бы лишенным век, не дано пить улады сумерек!.. Род Иапета не причастился Дионису—и потому уцелел, остальной из племени Титанов; но потому же и отрады не знает. Он сам, в лице Пандоры, горько жалуется людям на свою безблагодатность:

Счастливые, причастны вы огню
Небесного, как вы греха причастны
А мы, Титаны, знаем лишь вины
Ярем извечный, да горючий пламень,
Снедающий, злокозненный, голодный,
Да Матери голодную тоску.

Вина мятежных первенцев Земли (и нет разделяющей границы между виною и обреченностью!)—их алчность к действию и действительность из алчности, при бессилии к творчеству, родящемуся из полноты; отчего самое действие, в своей механической насильственности, сводится или к разрушению и убийству, или к хищению. Прометей—похититель огня; его двойник—крылатый хищник; хищная Пандора—похитительница похитителя... Есть точка зрения, с которой понятным и оправданным представляется намерение Зевса-Кроноида искоренить с наличным родом человеческим злое семя Титанов и создать новый род людей по закону своей «гармонии» (*Diòs harmonia*—Aesch. Prom. 553). Это невинное человечество не знало бы искуса свободы, не блуждало бы по запретным тропам блудного сына; мудрым и сладкоречивым растениям подобилось бы оно, возросшим из небесной земли,—но чуждо было бы ему и то, что Пушкин признает «основанным от века по воле Бога самого»,—а именно:

Самостоянье человека,
Залог величия его...

Чтобы отдохнуть и закрыться от неумолимого света мысли, для которой нет завес и преград, Прометей алчет деятельности, несущей с собою подобие самозабвения. «Мне недосуг страдать»,—презрительно бросает он своей мучительнице, Эриннии; и все же страдает непрестанно. Титаническое начало благо-

рожено страданием, как начало божественное свидетельствуется соприродным ему блаженством, неизсякающим в недрах его радованием. Прометей-страдальца переполняет, вместе с тем негреющим светом сознания, такой избыток мощно пылающей любви и глушимой презрением ненависти, что ему одно остается: перед самым собой притвориться безчувственным.

Душа—что склеп глухой; большое сердце—
Как чаша горечи.

III.

Есть святотатство и жестокость в насильственном низведении, исхищении совершенной Идеи из покоища истинного бытия в быстрину алчущего, но не достигающего полноты «существования». Таково титаническое отношение как к божественному первоначалу духовнейшего, ноуменального Огня (он же—Дионис, «Жених и Свет Новый», по словам древней молитвы, творимой при вознесении светочей), так и к женскому по своей метафизической природе огневому естеству, девственному на очагах небожителей и в руках дев-мстительниц, Эриний,—вдовствующему на земле *).

Но такова же и природа действия вообще, в отличие от чистого творчества; и если прав мудрствующий над Евангелием Фауст, будто в начале было не Слово, но Дело,—не откровение и нисхождение, а двигательный почин,—этою подменой непостижимого благовестия предопределяется непримиримый раскол, непо-

*) Это естество оскверняемо или заражаемо душевными «миазмами» и может пугдаться в очищении. После персидского нашествия весь огонь в занятых врагом местностях должен был быть потушен и заменен огнем, затепленным у очага Фебова. Донесший его из Дельфов в Платей к вечеру того же дня Эвхид пал мертвым от истощения сил.

правимый разлад мироздания, и в самом абсолютном творчестве изобличается вина всякого относительного творчества,—полу-дионисийского, полу-титанического, единственно доступного человеку.

В каждом деянии, как и в каждом обособленном возникновении, таится обращенное внутрь его жало смерти. Смерть действия—его разложение: оно обращается в свое противоположное,—«само кует свой плен»,—между тем как первоначальная воля возрождается в другом действии, которое в свою очередь проходит тот же круг. Каждое действие подобно железу, обвитому четою эхидн: змеи взаимно уязвляют одна другую на смерть,—жестл выскальзывает из их колец. Крылатым надлежит ему быть,—т. е. стремиться, хотя бы и титаническим усилием, к безусловному, к совершенству чистой Идеи,—чтобы не кануть в нижнюю бездну: тогда обовьет его новая яростная чета, и вознесение действия будет продолжено.

Прометей верит в это медленное искупление дела и делателя, и потому в споре с непримиримыми в своем хаотически-безпредельном, принципиально безформенном и бесплодном свободолобии, но близкими ему по мятежному духу Океанидами, утверждающими, что сотворить «возможное» значит изменить единственно желанному и святому «невозможному», иначе говоря: безусловному,—с упрямством неизбывной боли и сосредоточенного презрения опять и опять провозглашает свое выстраданное признание:

Что мог, я сделал; большего не мог;
Не мог и ного...

Титанизму свойственно безкрылое сознание принудительности овладевающей им воли, чувство внутреннего детерминизма, которое так непохоже на ра-

дость совпадения свободы с необходимостью -- эту божественную печать облагодатствованной души.

IV.

Но если действие Прометея по необходимости ограничено, зато целостна его жертва, и безусловно его саморасточение, самоопустошение, самоисчерпание, — «истощение» (*képôsis*), как выражали это понятие, говоря о тайне воплощения и искупления, наши старинные толковники священных словес эллинских. Поистине, он положил душу свою за человеков, но совершил этот подвиг не как Агнец Божий, а как мятежный Титан, — в грехе и дерзновенной надежде.

Истощение божественное, противоположное титаническому, представлено в рассказе о нисхождении в мир первородного сына Зевсова, Диониса. Мие — не всенародный, обще-эллинский, но прикровенный от непосвященных, основоположный мие мистической общины древнейших орфиков, — знал об этой извечной жертве нижеследующее:

Древле сына Зевс родил.
В начале было то. Родилось время
С рождением сына. Был иной тот Зевс.
Владыкой мира он Дитя поставил,
И сладостно играл вселенной сын,
И в той игре звучало стройно небо.
Небес алкали — род Земли — Титаны;
Подкрались к младенцу Дионису,
Пожрали плоть его, огнем палящим
Насытились — и пали пеплом дымным *).

*) Обычно повествовалось, что Титанов испепелил карающий перун разгневанного Зевса. Сам Прометей выше говорит, что они были «убиты мстью Зевсова орла». Пандора дает их гибели истолкование имманентное: дикое приращение божественной плоти обратилось для детей Хаоса в опаляющий огонь.

А сердце сына, бьющееся сердце,
Отец исхитил и в себе сокрыл...

Напротив, самопожертвованием титаническим является ревность перво-убийды Архата *), который, по свидетельству своего творца и наставника, «рвением истощил дыханье жизни», когда, на первом состязании огненосцев,—

в яром беге,
Сам светочем он вспыхнул и сгорел.

Здесь доблесть уживается с преступлением в единой героической и, следовательно, страстной, по эллинскому миропониманию, участи.

Таково же и самоотречение Прометея, основанное на изначальном нарушении предустановленного согласия живых сил. Его первый мятеж, первая вина, есть возстание против собственной бытийственной сущности, как бытия «конкретного» (в смысле, придаваемом этому слову Гегелем). Тот, кому «не мир надобен, а семя распри», начинает свое дело с внутренней схизмы и утверждения «дискретности» в себе самом, с раскола своей целостной полноты на два противоборствующих начала—мужеское и женское. Препоясываясь к действию, он заранее признает, принимает и волит его односторонним, насильственным, содержащим в себе отпадение от божественного всеединства.

Θεμиду молит: «Матерь, изведи
Жену на свет из самого меня...

*) Лица и действия любимцев и избранников Прометея подлежащей трагедии—свободное создание ее автора. Их имена значат: Архемор—начаток рока; Архат—начаток вины и кары; Автодик—самосуд; Пирр—огненный; Флогий—пламенеющий; Дадух—носитель светоча; Никтелий—ночной; Астрпей—молнийный; Керавн—перун; Аргест—бело-блестящий. Имя самого Прометея отвечает нашему «Промыслитель».